|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Борис Пастернак](http://magazines.russ.ru/authors/p/bpasternak/)** **Новооткрытые письма к Ариадне Эфрон****Публикация М.А. Рашковской. Сопроводительный текст Е.Б. Пастернака**

|  |  |
| --- | --- |
|  (16064) |  |

 |



*Несколько писем Бориса Пастернака к Ариадне Эфрон известны из многократно публиковавшейся ее переписки с Пастернаком, вошедшей в книгу “О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери” (М., 1989) с обстоятельными предисловием М.И. Белкиной и комментариями Л.М. Турчинского. После вышедшего еще в YMKA Press (1982) издания: “Ариадна Эфрон. Письма из ссылки” (они были впервые в России опубликованы в “Знамени” в 1988, № 7). Недавно они были повторены еще в двух изданиях.*

*Без сомнения можно сказать, что в письмах к Борису Пастернаку писательский талант Ариадны Эфрон отразился во всей своей силе и блеске, ее ум, наблюдательность, мужество, скрываемое иронией над собой и тяжелыми обстоятельствами ее биографии, вызывали понятное восхищение ее адресата:*

*“Радуйся Аля, что ты такая. Человек, который так видит и так чувствует, может во всех обстоятельствах жизни положиться на себя”.*

*Получив письмо Ариадны Сергеевны с кратким и выразительным описанием ее “командировки” в колхозную деревню, под тучами комаров, скрывавших “небо и землю, и избы, и ясли, и детей, и оладьи”, — Пастернак так характеризовал ее своей двоюродной сестре О.М. Фрейденберг: “...пришло письмо от дочери повесившейся в 1941-м году Марины Цветаевой, из восемнадцатилетней ее ссылки, из Туруханска. Мы с ней на ты и очень большие друзья, я девочкой видел ее в 35 году в Париже. Это очень умная, пишущая страшно талантливые письма несчастная женщина, не потерявшая юмора и присутствия духа на протяжении нескончаемых своих испытаний. Так вот, я хотел переправить тебе ее письмо, так вы в чем-то похожи, такие соседки по месту в моем сердце и так неоправданно строга она к себе и неведомо чего требует от себя и хочет. Но пересылать это письмо было бы нескромно” (31 июля 1954).*

*Нескромность пересылки, остановившая Пастернака, объяснялась словами А. Эфрон по поводу его стихов из романа в “Знамени” (1954, № 4):*

*“После долгих хлопот и ожиданий я, наконец, добралась до “Знамени” с твоими стихами, очень обрадовалась им и тебе. Дорогой мой, если бы ты знал, как изболелось мое сердце по твоей судьбе — и как я горда ею! По-матерински я вечно “молюсь о чаше” и вместе с тем — прости и пойми меня! Горжусь и радуюсь тому, что она, предназначенная величайшим и достойнейшим, не минула тебя. Ты сам это знаешь, и в конце концов велика ли беда говорить с потомками, перешагнув через современников? И велика ли беда в том, что пока история движется спиралеобразно, лучшие идут по прямой?” (22 июля 1954).*

*Всегда так небрежно относившийся к своим бумагам, Пастернак нежно сохранял письма Ариадны Сергеевны: “Жизнь, передвижения, теснота квартир научили меня не загромождать жилья, шкапов и ящиков стола книгами, бумагой, черновиками, фотографиями, перепиской. Я уничтожаю, выбрасываю или отдаю все это, ограничивая рукописную часть текущей работой, пока она в ходу, а библиотеку самым дорогим и пережитым или небывалым (но ведь и это, к счастью, растаскивают). Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма, и все решат, что кроме тебя я ни с кем не был знаком”.*

*Составленная и опубликованная после смерти А. Эфрон переписка включила 15 писем Б. Пастернака, 14 из них напечатаны по копиям, сделанным самой Ариадной Сергеевной, одно оказалось в собрании М.И. Белкиной. Теперь переписка может быть пополнена 25 письмами, сохранившимися в фонде Цветаевой в РГАЛИ, который по воле Ариадны Сергеевны был закрыт на 25 лет до 2000 г. Все они войдут в готовящееся в издательстве “Слово” собрание сочинений и писем. Желая ознакомить с ними читателей “Знамени”, мы предлагаем короткий обзор переписки, включающий полный текст неизвестных писем Пастернака к А. Эфрон, печатающихся по сохранившимся автографам. Несомненно, их было больше, — во многих местах своих писем Ариадна Сергеевна ссылается на полученные ею и несохранившиеся, цитирует их, отвечает на них. Это естественно при такой жизни, — напротив, — чудо, что в тех страшных условиях она сумела сохранить те, что есть. В них есть вырезанные места и отрезанные кусочки, что она сама отмечала при перепечатке: “Половина листка оторвана и сожжена мною тогда же, в 1950, или позже, в 1953 г.”. Также отсутствуют в архиве автографы двух писем, которые были ею скопированы в свое время и вошли в публикацию, но утеряны уже в более благополучное время, после смерти Пастернака, и нам остается довериться ее перепечаткам.*

*Подробно представлять корреспондентов нет необходимости, скажем только, что дочь Марины Цветаевой выросла в атмосфере материнского восхищения Пастернаком и впитала его поэзию с самого раннего возраста. “Так недавно мама распечатывала твои “Поверх барьеров”, — вспоминала она об этих годах в письме к Пастернаку, — и “Сестра моя жизнь”, и Рильке умер так недавно, и тоже совсем недавно я, маленькая, расшифровывала маленькую Люверс, и Мур играл с белым медвежонком Мумсом, присланным твоим папой” (26 августа 1948).*

*Их реальная встреча состоялась в Париже в июне 1935 года, когда Пастернак приехал на антифашистский конгресс в составе советской делегации.*

*“Помнишь, как ты приезжал к нам, сколько было апельсинов, как было жарко, по коридорам гостиницы бродил полуголый Лахути, мы ходили по книжным магазинам и универмагам, ты ни во что не вникал и думал о своем домашнем”, — вспоминала Ариадна Сергеевна (1 августа 1948). Ей было тогда 23 года, Марина Ивановна уезжала в Фавьер с Муром и поручила Пастернака ее заботам. Каждое утро она приходила в гостиницу и помогала ему выбирать подарки жене.*

*“Я как сейчас помню эту комнату, — слева окно, возле окна — восьмиспальная кровать, справа — неизбежный мраморный камин, на нем — стопка неразрезанных книг издания NRF, а сверху апельсины. На кровати (по диагонали) ты, в одном углу я хлопаю глазами, а в другом — круглый медный Лахути. Ему жарко, и он босиком”, — писала она в одном письме, а в другом продолжала: “...мы сидели среди книг и апельсинов у тебя в гостинице, и ты был страшно влюблен (в Зину!) и нечленоразделен. Потом мы ходили с тобой в магазин и покупали ей маникюрный прибор и платье, и ты пытался объяснить мне ее рост и размер на моем росте и размере и в это время глядел не на меня, но мимо и сквозь” (10 января 1955). Ариадна Сергеевна запомнила трагизм его самоотрешенности, его погруженность в грустные мысли “о своем домашнем”, — то самое состояние, на которое жаловалась ее мать в письме к Н. Тихонову: “От Бориса у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня — право, для него — его, Борисин, порок, болезнь”.*

*Достигнув совершеннолетия, Ариадна не задумываясь приняла советское гражданство и первой из всей семьи летом 1937 года вернулась в Москву. Она поселилась в Мерзляковском переулке у своей тетки, Елизаветы Яковлевны Эфрон, — добром гении всей семьи. Почти сразу по приезде получила работу в журнале “Revue de Moscou”. Два года счастливой жизни, работы и любви страшно оборвались ранним утром 27 августа 1939 года, когда “черный ворон” увез ее на Лубянку. Тогда в последний раз она видела своих мать, отца и брата, вскоре один за другим страшным образом погибших, — в разные сроки и по-разному. Летом 1942 года тетка решилась написать ей о смерти матери. “Если бы я была с мамой, она бы не умерла. Как всю нашу жизнь, я бы несла часть ее креста, и он не раздавил бы ее...” — отвечала она.*

*Ариадна Сергеевна была осуждена на восемь лет по статье 58 — подозрению в шпионаже, о ее судьбе Пастернак узнавал в Мерзляковском, писал ей в мордовские лагеря, посылал свои книги, деньги.*

*У А.Е. Крученых сохранилась копия его маленькой записки, написанной за три месяца до ее освобождения:*

**3 мая 1947. Москва.**

Дорогая Аля! Я Вам писал раза два, но это, конечно, не оправдание. Может быть, с дачи напишу побольше. Держитесь и не унывайте, надо свидеться. Всего лучшего. Крепко обнимаю Вас.

Ваш Б.П.

*Она вышла 27 августа 1947 года, но ей было запрещено жить в Москве. Изредка, “тайными набегами” она все-таки бывала там, приезжая из Рязани, где преподавала графику в художественно-педагогическом училище.*

*Весной 1948 года от Н.Н. Асеева Пастернак узнал о ее намерении поехать в Елабугу на поиски могилы матери, и 21 мая 1948 года он писал своему чистопольскому знакомому Валерию Дмитриевичу Авдееву: “Дочь Цветаевой запросила письмом Ник.Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой (может быть, у Вас там есть знакомые), Вы что-нибудь узнаете по этому поводу. Если бы мне десять лет тому назад (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немыслимым бредом”.*

*Видимо, Ариадна потеряла адрес Пастернака, потому что в том же собрании Крученых сохранилась ее записка к нему от 12 июня 1948 года, где она благодарит его за адрес Пастернака, которому собирается написать и поблагодарить за попытку узнать что-либо “о маминой могиле”.*

*По примеру своей матери она в первом же письме к Пастернаку заменила “пустое Вы сердечным Ты” и взяла легкий дружеский тон:*

**1 августа 1948. Рязань.**

Дорогой Борис!

Прости, что я такая свинья и ни разу еще тебе не написала: все ждала по-настоящему свободного времени, чтобы написать настоящее большое письмо. Но времени нет, и наверное никогда не будет. И чувства и мысли так и остаются, не столько несказa’нные, сколько нескa’занные. Живу я в Рязани уже скоро год, работаю в местном художественном училище — ставка 360 р. в месяц, а на руки со всеми вычетами приходится чуть больше 200 — представь себе такое удовольствие! Работать приходится очень, очень много. Все мечтала этим летом съездить в Елабугу, но, конечно, при таком заработке это совсем не осуществимо. Асеев писал мне, что мамину могилу разыскать невозможно. Не верю.

Я боюсь, что ты страшно рассердишься, когда узнаешь цель моего письма. Потому что это письмо с корыстной целью. Мне страшно нужны твои переводы Шекспира (пьес), в первую очередь “Ромео и Джульетта”. Ты мне присылал туда, но в тех условиях уберечь их не удалось.

*За что бы ни бралась Ариадна Сергеевна, она все делала, полностью отдавая себя, и все у нее получалось. И теперь она не только учила рисовать своих учеников, “в большинстве из окрестных сел”, но старалась расширить круг их интересов, приобщить к литературе и искусству. Она просила Шекспира для учащихся театрально-декоративного отделения, которые никогда его не читали.*

Напиши мне о себе хоть немножко. Мне говорили, что ты женился. Правда? Если так, то это хорошо. Особенно на первых порах. Крепко тебя целую и люблю. Напиши.

Твоя Аля.

**9 августа 1948. Переделкино.**

Дорогая Аля!

Спасибо тебе за письмо, но отвечаю наспех, и так же наскоро, не глядя, исполняю твою просьбу. Сообщи, дошло ли. Года три тому назад было предположение выпустить все мои переводы Шекспира отдельным собранием (есть еще хроника “Генрих Четвертый”, обе части и “Король Лир”). Тогда я написал вступительную статью к собранию, оттиск которой (т. е. машинопись) посылаю тебе с книгами. Последние годы, когда я только и научился писать, все мои работы остаются ненапечатанными и неизвестны никому. Но это в порядке вещей, это гармонирует с остальными сторонами жизни и меня не огорчает. Вообще все очень хорошо у меня, я много успеваю и хорошо себя чувствую, но у тебя обо мне неправильные сведения, жена моя жива и здорова и я с ней не разводился.

Средства к существованию я зарабатываю переводами, часто очень серьезными и оправдывающими себя, например сейчас перевожу Фауста, а урывками, редкими и непродолжительными, пишу свое, гораздо, на мой взгляд, свободнее, досказаннее и лучше, чем раньше. Последнее время я писал роман в прозе, написал первую книгу (он будет в двух) и буду продолжать, когда освобожусь от Фауста. Я не могу тебе его послать, да он и не понравился бы тебе, но одна из глав второй книги (это долго объяснять, как и почему) будет представлять тетрадь стихотворений одного человека, умирающего в 1929-м году (эту тетрадь найдут после его смерти) и часть стихов, написанных для этой будущей главы, я прилагаю.

Если бы я не писал тебе так торопливо и уступил напоминаниям твоего письма, охам, ахам и воспоминаниям, конечно, не было бы конца. Но лучше этого не делать. Напиши, прав ли Крученых, говоря, что тебя зовут Ариадной. Я всегда знал тебя Алей и думал, что это Александра. Это вообще мне надо знать, а в частности и на случай, если у меня будет возможность послать тебе что-нибудь еще, чтобы не перевирать твоего имени в адресе.

Асеев не ошибается, ответив тебе о маминой могиле, что неизвестно, где ее похоронили! Таково общее убежденье, так всегда отвечали мне, когда я расспрашивал потом людей в Чистополе и бывших в то время в Елабуге. Но я согласен с тобою, что личные неторопливые розыски на месте (и наверное дольше) могли бы к чему-нибудь повести. В этом смысле вызывался съездить туда и навести справки мой и асеевский добрый знакомый в Чистополе, Валерий Дмитриевич Авдеев (г. Чистополь, Тат. Авт. республ. ул. Карла Маркса 74), ботаник и историк края, понемногу занимающийся всеми искусствами и чтящий мамину память, с которым я списывался по этому поводу весной, но я думаю, эту просьбу к нему надо отложить до того времени, когда ты сможешь туда собраться.

Целую тебя. От души тебе всего лучшего. Не унывай (это не безответственные слова, а совет, твердый и продуманный).

Твой Б.

*Вместе с посылкой “Шекспиров” и стихов из романа Пастернак перевел Ариадне Сергеевне немного денег.*

Прости за глупый каламбур, но все твои переводы хороши, а последний — лучше всех, — писала она ему в ответ. — Не знаю, правильно ли я поступила, тут же, “тем же шагом”, как говорят французы, сбегав в магазин и купив себе пальто <...> пальто ведь нет, совсем никакого, и подарить его мне может только чудо, а чудо — вот оно, и значит — все правильно (5 сентября 1948).

*Тем временем был издан указ, по которому ссыльных не могли брать на работу в системе народного образования, и над А. Эфрон нависла опасность увольнения. Она надеялась на помощь поэта Александра Жарова, который приезжал в Рязань на празднование 30-летия комсомола. И он, действительно, хорошо принял ее и добился ее восстановления на работе.*

*В октябре 1948 года Пастернак послал ей первую часть романа “Доктор Живаго”, недавно перепечатанную в двух закладках.*

**6 ноября 1948. Москва.**

Дорогая Аля!

Я тебе до сих пор не ответил. Я все время занят, мне хочется писать роман дальше, мне многого хочется, а приходится гнать Фауста, это так ужасно.

Устроились ли твои рязанские дела, добилась ли ты тогда Жарова и остаешься ли в Рязани? Сообщи мне об этом. Если тебе трудно, я опять некоторое время спустя постараюсь что-нибудь сделать.

Рукопись можешь держать сколько угодно, мне очень интересно будет посмотреть твои рисунки, но прочла ли ты ее, вообще говоря, и что ты о ней думаешь? У меня есть круг задач, которые я себе поставил, я определенно знаю, чего хочу и что надо мне сказать, но надо зарабатывать, то есть переводить, и это я стараюсь сделать как можно скорее, чтобы не задерживаться. Отсюда постоянная спешка. Целую тебя.

Твой Б.

**12 ноября 1948. Рязань.**

Дорогой Борис!

Получила твою открыточку, прости, что так долго не отзывалась на книгу — бегло и между делом не хочу, а так, как хочу, все со временем не выходило из-за безумных предпраздничных нагрузок, плюс к основной работе и наступлению “осенне-зимнего сезона” в плане сложного рязанского быта. Книга вернется ко мне в понедельник, и тогда с нею в руках все напишу тебе подробно. Очень хороша. Но хочется очень, чтобы были пополнены и развиты антракты между событиями, сами по себе насыщенные событиями, еще не разразившимися, понимаешь? Обо всем напишу, как только вернется книга, а пока словечко наспех, чтобы сказать, что мы — и я и книга — живы и скоро подадим голос. Там есть замечательные, замечательные места, по-твоему пронзительные. <...>

*Ответ Пастернака на это первое письмо о романе не сохранился, — Ариадна Сергеевна цитирует в своем некоторые места из него. Он писал там о “закономерности недостатков” романа и благодарил за добрые слова, вызванные хорошим отношением к автору. Он сразу уловил, что роман ей не очень пришелся по душе, и просил переслать рукопись во Фрунзе находившемуся в ссылке балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. Но Ариадна, еще раз прочтя роман, 28 ноября прислала подробный разбор, в котором восхищение сочеталось с сожалениями и пожеланиями:*

Дорогой Борис!

Вот я и завладела, наконец, той горсточкой времени, которая была так необходима, чтобы поговорить с тобой. <...> Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Во-первых — теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой “кубатуры”, необходимого пространства и простора, воздуха. И это не случайность, это не само написалось <...> Это умышленная жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты, именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени, а во-вторых — по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте <...> Получается, что все эти люди — и Лара, и Юрий, и Тоня, и Павел, все они живут на другой планете, где время подвластно иным законам, и наши 365 дней равны их одному. Поэтому у них нет времени на пустые разговоры, нет беззаботных, простых дней, того, что французы называют dйtente, они не говорят глупостей и не шутят, как у нас на земле <...> Всегда — и на этот раз — почти пугает твое мастерство в определении неопределимого — вкуса, цвета, запаха, вызываемых ими ощущений, настроений, воспоминаний, и это в то время, как мы бы дали голову на отсечение, что слов для этого нет, еще не найдены или уже утрачены. <...>

*Пастернак немедленно ответил, — удивительно кратко и исчерпывающе полно описав особенности той новой прозы, которой написан “Доктор Живаго”, и дав ответ всем тем, кто до сих пор ищет и не находит в этом романе привычных законов классической прозы, отрывая его от времени, в которое он писался:*

**2 декабря 1948. Москва.**

Ангел Аля, ты мне написала за всех и лучше всех. Вероятно ты права, и как-нибудь в другой раз, когда я буду посвободнее, я тебе объясню, как это все получилось. Я подчинял себя и эту вещь обстановке, в которой она возникала, а не освобождал ее от нее, как это всегда бывает в искусстве. Я ссылаюсь на сумасшествие ее возникновения (наперекор окружающим условиям) не как на оправдание ее недостатков, а как на добровольно допущенное ее содержание, как на составную часть ее стиля, мне казалось, что вещи можно позволить быть не только изображением прошлого, но и несчастным отпечатком настоящего, загнанным, задыхающимся и стесненным. Если даже торопливость моя была непрямая, а выброски и усечения требовали дополнительного труда, может быть, я был не так не прав, полагая, что по тысяче разных причин современная душа (как и моя собственная) не выносит длинных вещей. Наверное, я перемудрил, но доля допущенного пересола, быть может, со временем рассосется и сгладится.

Не вступай в спор со мной по этому поводу, — я с тобой соглашаюсь. Ты безумно проницательна и права, этими же недостатками отличалась проза Рильке, которого я боготворил.

Как в этом письме твой почерк похож на мамин!

Твой Б.

Боюсь, что ты до моего предупреждения уже успела заслать рукопись во Фрунзе. Если нет, то это великолепно.

*Действительно Ариадна Сергеевна уже отправила рукопись во Фрунзе и жалела об этом, так как хотела иллюстрировать роман, перечитывать некоторые места, “потому что память и воображение переиначивают их”. Она поняла, что “вещь эта настолько цепкая, сильная и к тому же замедленного действия, что все время хочется сличать это самое действие с подлинником, его производящим”.*

**15 декабря 1948. Рязань.**

Борис, дорогой! Не ответила тебе на то твое письмо все из-за той же занятости и сумбура вообще, но рада была очень, что ты не рассердился на мелочный мой подход к твоей большой книге. Да и сердишься ли ты вообще когда-нибудь? Я — нет, только изредка бешусь, но не сержусь никогда, — впрочем, Бог с ним, я совсем не о том хотела тебе написать.

В старой инвентарной книге училищной библиотеки я нашла запись “Л. Пастернак, альбом, 40 р.”, и никаких следов самого альбома в самой библиотеке, в библиотечных карточках. Все же по наитию разыскала и того человека, у которого уже второй год лежала книга, и книгу. Она, вероятно, есть у тебя, такая большая, в синем переплете, со множеством репродукций, издание 1932 г., текст Макса Осборна. Книга — с надписью: “Дорогим Варе и Осипу с любовью, Леонид Пастернак. Берлин. 1934”.

Как она попала сюда, кто такие Варя и Осип? Никто у нас не знает, да и ты вряд ли знаешь — а может быть, помнишь Варю и Осипа? Напиши, мне очень интересно. Часть наших книг по искусству были куплены где-то в Рязанской области, остались они после смерти какого-то старого художника, фамилии которого никто у нас не знает. Может быть, это и был тот самый Осип? И еще — нашла я среди разрозненных репродукций, в нашей же библиотеке, в хламе несколько архитектурных репродукций, причем некоторые из них были исправлены, видимо, автором, тушью (дорисованы деревья, окна, решетки, кое-где заштриховано, перечеркнуто). <...> Подпись Ноаковский, я не знала такого, я вообще совсем не знаю архитекторов. Но эту фамилию я встретила на днях в книге Сидорова о Рерберге “крупный архитектор-преподаватель”. И вот какая-то установилась во мне связь между работами Ноаковского, книгой твоего отца, Варей и Осипом... Кто из них жив, кто умер в Рязанской области в год окончания войны? Или вообще никакой связи нет, и все это случайно? Как хороши работы твоего отца, какие великолепные рисунки, за душу хватают. Проницательно и крылато, большое в этом сходство между вами, не сходство, а родство, бoльшее, чем кровное.

*Вспоминая потом виденные в монографии прекрасные репродукции рисунков Л.О. Пастернака и иллюстраций к “Воскресению”, Ариадна Сергеевна простить себе не могла, “что не догадалась украсть ее, там столько чудесного, и много портретов вас, детей и подростков, и матери”.*

**29 января 1949. Москва.**

Дорогая Аля!

Ты догадываешься, как я занят: Фауст, 4700 рифмованных строк, я его в августе начал, хочу на ближайших неделях кончить! Спасибо тебе сердечное и огромное за твои заботливые строки об отце. Осип, брат моей матери, дядя, Варя — его жена (все уже покойные). Этот дядя, доктор Кауфман, был всю жизнь земским врачом в Рязанской губернии, сначала, в незапамятное время в Туме, а потом в Касимове. Наверное, после смерти обоих вещи растащили или распродали, отсюда и скитания альбома. Ноаковский был инспектором Московского Строгановского училища, по отзывам знавших (допытывался для тебя), профессором архитектуры, великолепным рисовальщиком. — Спасибо тебе за все, главное за то, что ты такая умница и на тебя не надо тратить много слов, сама все знаешь и понимаешь. В феврале, и очень скоро, хочу тебе послать денег, и немного меньше Асе, но меня останавливает твоя открытка с извещением о твоей поездке в Москву. Как быть? Ждать ли тебя? Ответь.

Твой Б.

*Ариадне Сергеевне удалось тайком (ссыльные не имели на это права) на несколько дней выбраться в Москву. Они виделись с Пастернаком. “У тебя мне ужасно понравилось и хотелось все трогать руками”, — писала она ему потом. — “...твоя комната встретила меня целым миром, в который я не чаяла вернуться — картинами отца, Москвой сквозь занавески...”. Но сразу по своем возвращении в Рязань, 22 февраля, она была вторично арестована, как все те, кто отбыл свой срок, и отправлена этапом на Енисей на вечное поселение, “на вымирание”, как им объяснили конвойные. Описанию долгого и мучительного переезда, холода и нищеты Севера посвящено ее первое письмо, посланное 26 августа 1948 года. Чувство юмора и внимательность глаза и тут не оставляют ее. Удивительна также ее изобретательность на эвфемизмы, которыми она пользуется для рассказа о страшных перипетиях своей жизни:*

Дорогой Борис! Все — как сон, и все никак не проснусь. В Рязани я ушла с работы очень скоро после возвращения из Москвы <...> Завербовали меня сюда очень быстро (нужны люди со специальным образованием и большим стажем, вроде нас с Асей <А.И. Цветаевой, тоже находившейся в ссылке>), а ехала я до места назначения около четырех месяцев самым томительным образом. <...> Оставили меня в с. Туруханское, километров 300—400 не доезжая Карского моря. Все хибарки деревянные, одно-единственное здание каменное — и то — бывший монастырь, и то — некрасивое. Но все же это — районный центр, с больницей, школами и клубом, где кино неуклонно сменяется танцами. По улицам бродят коровы и собаки-лайки, которых зимой запрягают в нарты.

*В Туруханске местным жителям было запрещено пускать к себе ссыльных; на последние гроши, — вспоминала потом Ариадна Сергеевна, — она послала телеграмму Пастернаку и, получив от него деньги, на следующий день уговорила одну “полусумасшедшую старуху” сдать ей угол. Удалось также устроиться уборщицей в школе с жалованием 180 р. в месяц.*

Обязанности мои несложны, но разнообразны. 22 дня я была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости. Через каждые полчаса лил дождь, сено мокло и мы тоже. Потом сохли. Жили в палатке, которая тоже то сохла, то мокла. Питались очень плохо, так как, не учтя климата, захватили с собой слишком мало овсянки и хлеба. Сейчас занята ремонтом — побелкой, покраской парт и прочей школьной мебели, мою огромные полы, пилю, колю — работаю по 12-14 часов в сутки. Воду таскаем на себе из Енисея — далеко и в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работящие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии.

*Отголоски этих лошадиных метафор попали в письмо Пастернака Фадееву с просьбой поспособствовать изданию сборника его переводов (так и не вышедшему). Объясняя Фадееву свою необходимость денежно поддерживать вдову расстрелянного Тициана Табидзе или дочь и сестру Марины Цветаевой, он прилагал их телеграммы с просьбами помощи.*

*“Ты скажешь, — писал он Фадееву, — на то моя воля, никто меня об этом не просит — слишком долго было бы тебе доказывать, что это не так, что это даже мой советский общественный (пусть и тайный) долг. И разве можно иначе? Отчего эта несчастная дочь Цветаевой должна заменять лошадь в местах, откуда пришла телеграмма, и, перетаскав на себе сотни центнеров сена, не иметь даже обеспеченного лошади стойла и корма, а я жить лучше, чем, по счастью, я все-таки живу. Не сердись на меня. Я не требую от тебя, чтобы ты признал мою жизнь, мои принципы. Это немыслимо и ненужно. Но я не противопоставляю себя — тебе. Не думай же и ты, что я какой-то “другой”. Это неправда” (1 октября 1949).*

**20 декабря 1949. Москва.**

Дорогая бедная моя Аля! Прости, что не пишу, что и сейчас не напишу тебе. Умоляю тебя, крепись, мужайся даже по привычке, по-заученному, в моменты, когда тебе это начинает казаться бесцельным или присутствие духа покидает тебя. Ты великолепная умница, такие вещи надо беречь. Как хорошо ты видишь, судишь, понимаешь все, как замечательно пишешь. <...>

*И в следующем письме 19 января 1950 о том же:*

Если несмотря на все испытанное, ты так жива еще и несломленна, то это только живущий Бог в тебе, особая сила души твоей, все же торжествующая и поющая всегда в последнем счете и так далеко видящая и так насквозь! Вот особый истинный источник того, что еще будет с тобой, колдовской и волшебный источник твоей будущности, которой нынешняя твоя судьба лишь временно внешняя, пусть и страшно затянувшаяся часть. <...>

*Одновременно с этим письмом Пастернак в ответ на ее рассказ о “незнакомом пареньке”, который искал его стихи в деревенской библиотечке, послал ей маленькую книжечку “Избранных стихов и поэм” (1945), которой было суждено стать его последним прижизненным изданием, — с надписью: “Дорогой моей Але с благословением, с заклятием, как талисман, верю в тебя и целую. Б.П. 16 янв. 1950” (собр. Л. Турчинского). “Эти книжки я послал тебе после твоих слов о “пареньке” в клубной библиотеке, на случай, если кому-нибудь понадобится”, — объяснял он в следующем письме.*

*Он шлет ей также недавно написанные стихи к “Доктору Живаго”, однотомник Гёте с первой частью “Фауста”, “Воскресение” Толстого с иллюстрациями отца. Ариадна с благодарностью писала о “притягательной сущности” его стихов, о рисунках Л.О. Пастернака, “осуществившего тему лучше, чем автор, то есть с неменьшей любовью, но абсолютно без сантиментальности”, и просила достать ей через Алексея Крученых стихи ее матери.*

**25 мая 1950. Москва.**

Дорогая Аля!

О Чехии пришлет тебе Елизавета Яковлевна, к Пушкину достанет Крученых, разыщем и о Маяковском. Сейчас все разъезжаются по дачам, это затрудняет. Каждый раз как заходит разговор о маминых книгах или рукописях, это мне как нож в сердце. Разумеется, это укор уничтожающий и убийственный, что у меня ничего не осталось отцовского, Цветаевского, Рильковского, близкого как жизни и как жизнь растекшегося. Это все в чьих-то руках, но поди вспомни, когда их так немыслимо много! Этому нет имени, и ссылки на то, как я живу, как складывалась жизнь и пр. оправдать меня не могут, а разве послужить успокоением, что из многих видов преступности это не самый худший. <...>

*Благодаря помощи Пастернака Ариадне Сергеевне с приятельницей удалось приобрести крошечную развалюху на берегу реки и выехать из грязных углов у чужих людей, где они ютились. Она с упоением и во всех подробностях описывала, как они утепляли домик, как устраивали его для жилья. Перерывы между письмами Пастернака и их торопливый тон объяснялись необходимостью много зарабатывать, и не только для помощи обездоленным, но и для того, чтобы иметь возможность писать свой роман, “произведение убыточное”, Пастернак глушил себя переводами.*

**21 сентября 1950. Переделкино.**

Дорогая Аля!

Прости, что давно не пишу тебе, и не тревожься. Как здоровье твое? Боюсь об этом и думать, бедная ты моя.

Позволь не рапортовать тебе, откуда мое молчание, какие у меня бывают огорчения и отчего мне надо и нравится так нечеловечески гнать работы, свои собственные и переводные.

Писал ли я тебе, что за один июнь месяц перевел и сдал в отделанном и переписанном виде шекспировского “Макбета”? И все в таком темпе.

Была тревога, когда в “Новом мире” выругали моего “Фауста” на том основании, что будто бы боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все “иррациональное” передано слишком хорошо, а передовые идеи Гёте (какие?) оставлены в тени и без внимания. А у меня договор на вторую часть! <...>

*Статья Т.Л. Мотылевой “Фауст” в переводе Бориса Пастернака” (“Новый мир”, 1950, № 8), о которой идет речь, к счастью, не повлияла на договор, и Пастернак начал переводить вторую часть, показавшуюся ему на первых порах “непреодолимо громоздкой смесью зачаточной и оттертой на второй план гениальности с прорвавшейся наружу и торжествующей вампукой”, — как писал он А. Эфрон в следующем письме.*

*Ариадна Сергеевна жаловалась на отсутствие писем, конверты которых, — как казалось, — надписаны “почерком настолько крылатым, что кажется — письма твои преодолевают все эти пространства без помощи каких бы то ни было “авиа”. Но признавала, что и сама стала писать с трудом и не столько из-за отсутствия времени, но от тусклой душевной усталости.*

**12 февраля 1951. Туруханск.**

Эта зима показалась мне просто ужасной, несмотря на то, что довольно бодро борюсь с ней и одолеваю ее. Может быть, и предыдущая была не лучше, но я сгоряча ее не раскусила, как следует, или же просто с каждым годом выдыхаюсь все более, но только осточертели эти пятидесятиградусные морозы, метели, душу и тело леденящие капризы сумасшедшей природы и погоды <...>.

**25 февраля 1951. Москва.**

Дорогая Аля!

Спасибо за письмо. Я стал уже беспокоиться, звонил Елизавете Яковлевне, что о тебе слышно, и хотел послать тебе телеграмму.

Я действительно страшно занят сейчас. Детгиз выпускает для школьной библиотеки пять шекспировских пьес в моем переводе, в том числе сделанного для них Макбета. Это — деньги в будущем, но для этого надо тщательно и кропотливо пересмотреть тексты всех переводов, страницу за страницей и предельно, буква в букву, приблизить к подлиннику, ближе, чем допускает живой перевод. Такая надобность, за которой, конечно, следит редактор, не подсказана существом дела или требованиями жизни, а только стремлением издательства к тому, чтобы в случае чего было на кого свалить, так мол у Шекспира, наше дело сторона. Но так как все на свете можно повернуть к лучшему, я за этим трачу время и силы не без пользы. Это будет действительно выверенный текст долговечностью лет на 30 или 50.

Я боюсь, что обнадеживал тебя насчет денег, у меня действительно были расчеты на февраль, на середину зимы, но эти предположения передвигаются ближе к концу марта или к апрелю. Ты можешь всегда верить моим обещаниям, но никогда не верь срокам в них, они от меня не зависят. Прости за весь этот разговор, в котором ты не виновата ни сном ни духом и повода к которому не подавала даже тайным действием мыслей на расстоянии, — все дело во мне, я давно решил послать тебе что-нибудь в январе, и меня мучит, что я этого не сделал. Но скоро, скоро я это поправлю.

Прости, что на двух страницах этого письма я умудрился не сказать тебе ничего хорошего или хотя бы существенного. Я здоров, работаю, в границах, остающихся за вычетом собственного сочинительства, принадлежу весь себе, люблю тебя, верю в то, что ты выдержишь все испытания, и верю в эту веру, в целесообразность ее и прок от нее, а все это вместе, с некоторыми другими еще слагаемыми, такая непозволительная и незаслуженная роскошь, что умолкаю. Целую тебя, Аля.

Твой Б.

**5 марта 1951. Туруханск.**

Дорогой Борис!

Очень обрадована твоим письмом, приободрена и внутренне собранна им, правда! Во всех твоих письмах, даже самых наспех написанных, даже самых гриппозных, столько жизнеутверждающего начала, столько неведомого душевного витамина, что они действуют на меня вроде аккумуляторов, я ими заряжаюсь и дальше живу <...>

О деньгах не беспокойся, во-первых, ты мне ничего не обещал, во-вторых, когда бывает очень трудно, я сама прошу, а не прошу — значит, не трудно. Целую.

**26 марта 1951. Москва.**

Дорогая Аля!

Я в последний раз пообещал, что скоро напишу тебе. Я хотел поговорить с тобою о себе, я давно тебе о себе ничего не рассказывал, я знаю, как дорого было бы тебе это узнать. Но это необычайно трудно и все равно ничем бы не кончилось, я не дописал бы письма, или уничтожил бы написанное. А я хочу еще сказать тебе кое-что, касающееся тебя. Этим и ограничусь.

Вот что я хотел тебе посоветовать. Старайся уже и сейчас, несмотря на недосуг, набрасывать что-нибудь в прозе, хорошую сжатую беллетристику, взяв за образец, скажем, Чехова. Что-нибудь из огромного твоего пережитого, в безобидно нейтральной форме, какую мог бы выдержать современный твой письменный стол. Но именно рассказы, а не воспоминания, не Асины essais и размышления, не стихотворения в прозе, а виденное и испытанное, переряженное вымыслом и отнесенное немного в сторону, на творческую дистанцию. Тебе когда-нибудь это понадобится. Ты — писательница, и больно, когда об этом вполголоса проговариваются твои письма, где этот дар попадает в ложное положение, как когда, например, ты в них скажешь что-нибудь очень ярко и смело, слишком хорошо для письма, и начинаешь затирать и топить это в пояснительных психологизмах, и торопишься придать необыкновенному вид обыкновенности, чтобы восстановить нарушенную эпистолярную скромность.

В будущем тебе когда-нибудь непременно захочется писать большое жизнеописание, большую историю, настоящую, в открытую, или опять-таки творчески претворенную в отнесении на какой-то градус правее или левее собственной, и тебе заблаговременно надо потренироваться в теске камней к ней. А вываливать это в письмах, это все равно, что питаться серными спичками или пить чистый уксус. А может быть, я не прав и письма-то и есть эти камни.

Очень у меня болит шея в последнее время, не отпуская. Надо будет сходить в поликлинику и обратить на это внимание. А на душе у меня ясно и спокойно, и я хотел бы заразить тебя этой примиренностью по отношению к тому, в каком состоянии наследие твоей матери и что делается и сделается со мной, и со многими. Но ты ведь и сама так устроена и тебе этого спокойствия не занимать стать. Целую тебя.

Твой Б.

Будь здорова и счастлива, я всегда думаю о тебе и люблю тебя.

**4 апреля 1951. Туруханск.**

Дорогой мой Борис!

Только что получила твое письмо и только что отправила свое тебе, то есть сперва отправила, а потом получила. Спасибо тебе за все доброе, что ты пишешь обо мне и для меня! — Но я не писательница. Не писательница, потому что не пишу, а не пишу, потому что не могу писать, иначе я подчиняла бы все на свете писанию, а не подчинялась бы всему на свете — всяким большим и малым обязанностям. Это во-первых. Во вторых, я не писательница потому, что никогда не чувствую конца и начала вещи, которую, скажем, хотела бы написать. Никогда не смогла бы, как Чехов, что-то и кого-то выхватить и бросить на полпути, придав этому видимость законченности. Так и барахталась бы в истоках, устьях, потомках и предках, и получалось бы ужасно <...> И еще много есть причин, по которым я не писательница, несмотря на то “яркое и смелое”, что, как ты говоришь, иногда сказывается в моих письмах. Слишком мало яркого и еще меньше смелого и во мне самой, и в любых моих проявлениях <...>

**25 июля 1951. Переделкино.**

Дорогая Аля!

Прости, что не отвечал тебе и, судя по твоей сегодняшней телеграмме, своим молчанием заставил тебя беспокоиться. Я тебе и сам должен и хочу написать по-настоящему, а пока наскоро несколько слов, из Переделкина едут в город, и я хочу этим воспользоваться, чтобы отправить письмо воздушной почтой.

Причина (или одна из причин) моих таинственных болей в шее, левом плече и затылке выяснилась летом. Это давно нараставшая в этой области опухоль, незлокачественная, жировик, который надо вырезать, и тогда можно надеяться, я перестану “мучиться”. Но это избавление я откладываю, вместе со всем отсроченным подобием жизни, еще доступным мне, до окончания перевода Фауста (всего) и переезда в город, то есть месяца на полтора — на два.

Я не знаю, чем и насколько я рискую этой медлительностью, и со стороны может показаться непонятным этот избыток выносливости и стоицизма, но ты поймешь, если я скажу, что все стороны жизни слились неотделимо и каждая сковывает и причиняет боль; и что из этих пустяковых незлокачественных опухолей главный жировик это Фауст, с удаления которого я хочу начать эти (в мечте) облегчительные операции.

Ты такая умница, что за этими словами угадаешь и то, что мне, дураку, даже не приходит в голову. Похвалой твоей талантливости я и кончу свою успокоительную записку. Потому что за вычетом этой анатомии, внутренне и душевно, я, по счастию, совершенно здоров и, в работоспособности своей очень много успеваю.

Будь здорова. Крепко, крепко тебя целую.

Твой Б.

Мало пишу и оттого, что главные боли появляются за писанием. Мышцы утомлены главным образом этой позой, и таскать ведра из колодца и работать на огороде не только менее болезненно, но приносит чудодейственное успокоение.

Через месяц и во всяком случае не позже октября пришлю тебе немного денег.

**15 августа 1951. Туруханск.**

Дорогой Борис! Получив твое письмо, я почувствовала то, что обычно испытывают родители, когда ребенок, которого считали погибшим (утонувшим, заблудившимся в лесу, упавшим с дерева и т.д.) — преспокойно возвращается домой, слегка развязный от небольшого смущения, что, мол, опоздал. В таких случаях обычно (знаю по себе) приходят в бешенство, и только что оплакиваемого первенца жестоко наказывают. Так и я, получив твое письмо, сперва обрадовалась, потом рассвирепела. Потом опять обрадовалась. Но ты понимаешь, я настолько истревожилась твоим таким долгим молчанием, что просто вышла из себя, узнав, что главной причиной его был какой-то доктор Фауст. <...>

**28 августа 1951. Переделкино.**

Дорогая Аля!

На днях я кончил II часть Фауста и сам себе не верю. А потом через мои руки прошла корректура пяти пьес Шекспира (ты не знаешь только Макбета) для Детгиза. Я чувствую себя хорошо. Шея не прошла, там что-то более устойчивое, жировик, требуется вмешательство ножа, но я опять такой, как был всегда, поправился, доволен мироустройством, работаю за столом и на огороде. Именно затем я тебе и пишу в конце ясного, солнечного августовского дня, чтобы с письмом пошла к тебе частица моей ясности и спокойствия. Больше полугода эта новость со спиной и шеей была больше меня, застилала глаза и заслоняла все от меня, а постепенно в последнее время заняла свое место позади меня, пусть и не лишенная боли.

Я постоянно думаю о тебе и в любой момент кроме любви и разглагольствований мог бы сделать для тебя что-нибудь посущественнее, но это не совсем удобно в данную минуту. Если ты можешь потерпеть, я это сделаю через месяц, в конце сентября, когда буду в городе. Если же нет, сообщи мне свободно и искренне или телеграфируй, я ускорю.

Если будешь писать Асе, кланяйся ей. Были от нее открытки, я ей обязательно как-нибудь отвечу. Крепко тебя целую.

Твой Б.

*Исполнялось десять лет со дня смерти Марины Цветаевой, Ариадна Сергеевна просила Пастернака: “Вспомни ее живую! в этот день”. Вероятно, эта просьба вызвала письмо, от которого сохранился только маленький клочок, вырезанный из середины, с воспоминаниями о времени их горячей переписки и душевной близости:*

В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения. Я для вас писал “Девятьсот пятый год” и для мамы “Лейтенанта Шмидта”. Больше в жизни это уже никогда не повторялось.

*Написанное на обратной стороне продолжает тему той совершенной близости, которая установилась тогда между ними:*

<Отношения с> двумя грузинскими поэтами ни в какое сравнение с годами той дружбы и сердечного единения не идут. Параллель этому имеется только в детстве, когда любовь к Скрябину, самое его “нахождение в пространстве” наполняло окружающую действительность для меня значением <...>

*Что могло смутить Ариадну Сергеевну в этом письме, посвященном воспоминаниям о тех незабываемых годах и о “живой” матери, мы никогда не узнаем. Она очень обрадовалась, получив его, и писала:*

**9 ноября 1951. Туруханск.**

Дорогой мой Борис!

Спасибо тебе за чудесное письмо. Я долго читала его и перечитывала, вошла в него, как в дверь, открытую в те годы, годы вашего творчества и простора, когда вы были как два крыла одной птицы. Дорогие мои крылья, светлые, сильные, чистые, вы и сейчас со мной, совсем бескрылой, и не оставите души моей до самого земного предела. Простора — еще может быть и потому, что те годы связаны в моей памяти с океаном, атлантическими ветрами, волнами, облаками, закатами и восходами на самых дальних моих горизонтах — все это так великолепно аккомпанировало получаемым от тебя и посылаемым тебе строкам! Все это незаметно и прочно вошло в меня, настолько незаметно, что я и сейчас вспомнить не могу, когда я впервые услышала о тебе, прочла тебя, точно так же, как не помню первой своей встречи с океаном. Точно вы всегда были <...>

*В связи с готовящимся столетним юбилеем смерти Гоголя Ариадна Сергеевна просила Пастернака прислать им в школу “иллюстрированного “Ревизора” или любое гоголевское с картинками, кроме “Бульбы” — единственное, что есть в здешней библиотеке”.*

*В следующем письме, написанном 19 марта 1952 года, она описывала красоту здешнего “чудесного марта, блестящего до боли в глазах”, и звездных ночей, таких, что “если бы умирая видеть над собой такое небо, и так его видеть, то не было бы ни страха, ни горечи и никаких грехов”. Но эти размышления она заключала следующими словами:*

Ах, Борис, если бы ты знал, как я равнодушна к сельской жизни вне дачного периода и какую она на меня нагоняет тоску! Особенно когда ей конца-края не видно, кроме собственной естественной кончины. Хочу жить только в городе и только в Москве. И полна глупейшей надежды, что так оно и будет. У моей судьбы должны быть в запасе еще и хорошие чудеса. <...>

**27 марта 1952. Москва.**

Дорогая Алюша, прости меня, я ужасно виноват перед тобой!

Не достал и не послал тебе Гоголя, давно не писал. Я тебе отвечаю на твое последнее письмо от 19-го. Ты по-прежнему ярка и остроумна, и даже напраслину на себя взводишь очаровательно. Все твои письма, включая мнимо- или притворно-мнимо нудные — самое лучшее и единственно живое, что приходится мне читать в нынешней литературе. Но ты знаешь, как я люблю тебя, и сама знаешь себе цену. Лучше я быстро скажу тебе несколько вещей. Я опять стал страшным крохобором в отношении времени. Мне хочется для себя, порядка ради, кончить роман. Спина у меня не прошла, после сдачи Фауста было два припадка долгих таинственных и упорных болей (один раз 6 часов, другой — почти сутки) в нижней левой части живота (по-видимому, почечный камень, осталось невыясненным). Я себя чувствую хорошо, и не заикался бы тебе об этом, если бы положение хоть сколько-нибудь тревожило меня или кого-нибудь другого, но мораль отсюда такова, что в свободное от таких сигналов время надо не увлекаться лечением, или разговорами о своей болезни, или писанием об этом писем, но спешить делать самое необходимое, условно хотя бы необходимое, если безусловное не дано нам. Отсюда моя торопливость. Но не для таких истин взялся я за перо.

В конце письма ты пишешь, что хочешь “жить только в городе и только в Москве”. И что ты “полна глупейшей надежды, что так оно и будет”. Я живейшим образом разделяю твою надежду. Я в это верю, как в удовлетворительность своего здоровья, как в роман, у всего этого — одно будущее, это разные стороны одного и того же. И в залог этой веры я посылаю тебе руку твоей мамы, кусок ее почерка. И в каких стихах! Я тебе писал и рассказывал, что у меня нет ничего, что можно было бы назвать библиотекой, ни архива, ни переписки, ни рукописей моих, ничего. Убыли и таянья этого и гибели и пропаж при переездах, от растаскивания и прочая было столько, что теперь я уже не помню, какие из отцовских работ когда погибли или сгорели, чтo когда. Но у меня уцелела часть его альбомов разных форматов, рисовальных, которые ему служили и записными книжками, с рисунками многих лет, начиная с 85-го до 920-го, самыми мгновенными, самыми свободными и артистическими, разнообразными, бесчисленными. С давних пор, из году в год я собирался просмотреть их все, наклеить на них ярлычки и на этих наклейках описать их содержание, и все откладывал, тащил, волок на совести своей эти с гору выросшие угрызения, а главное: отказывал себе в удовольствии, почти равносильном вторичному пробегу пережитого. И вот когда навалились на меня эти припадки, врачи, рентгены, я не сразу после постели принялся за работу, и в недельный промежуток разобрал наконец эти альбомы и книжки. Некоторые склеились от времени вместе клеенчатыми обложками, так что не разодрать. Все было в страшной пыли. Я нашел записи (времени моего студенчества): “Жили мирно, блаженствовали, не ведали горя. Приехал Боря, ежедневные ссоры, скандалы...” Из этих кип появлялись очень единичные, очень немногочисленные приглашения, визитные карточки, случайности, не имеющие отношения к рисункам. Из них вывалилось мое марбургское выпускное свидетельство и выпали эти мамины листочки. Вероятно, я вместе со многим другим заложил их в какую-нибудь корзину, где хранил эти альбомы. Мне их когда-то подарила Ася. Все это напечатано, не правда ли? Написанные красными чернилами — в Ремесле. А черные в какой книге? Но тебе я их посылаю как мамин из странствий вернувшийся автограф, как талисман, как ее ручательство в будущем. Но какой огонь, какое совершенство! И какая естественная человеческая речь! Это письмо надо было написать по-другому. Прости мне его торопливость. На этот раз это только сопроводительная записка. Целую тебя. Я не буду доставать тебе Гоголя, но в начале апреля пошлю тебе немножко денег.

Твой Б.

*В письме не названо, какие именно автографы из “Ремесла” и “Юношеских стихов” были когда-то подарены Пастернаку Анастасией Ивановной и теперь нашлись. Вероятно, Ариадна приобщила их к собранию рукописей Цветаевой, и мы теперь, лишенные возможности просмотра архива, не можем сказать, сколько их было и какие именно.*

**12 апреля 1952. Москва.**

Дорогая Алечка!

Я тебя последнее время тревожу одними холостыми почтовыми залпами: телеграммы в два слова, конверты почти без вложений... Пакет с автографами мамы давно запечатан, давно, с конца марта, заполнен бланк с почтовым переводом, и только получку денег все откладывали. Мне кажется, завтра все это наконец отправится в дальнее плавание к тебе.

Прости мне мою торопливость, немногословность. С весной тебя, с наступающим светлым праздником. Неизвестно почему я настроен на редкость радостно и бодро. Целую тебя, моя дорогая.

Твой Б.

**6 мая 1952. Туруханск.**

Дорогой мой Борис!

Бесконечное спасибо за все, тобой посланное и мною полученное, и не только за это. Во-первых и прежде всего спасибо тебе за тебя самого, за то, что ты — ты! Очень меня взволновало и твое письмо, и мамины стихи. Я помню, как писались те, что красными чернилами, и тот чердак, и тонкий крест оконной рамы, и весь тот — девятнадцатый — год. Первое из чердачных — не полностью, видимо, не хватает странички, а конца наизусть я не помню. А те, что черными чернилами, — из большого цикла “Юношеских стихов”. Полностью они никогда не были опубликованы и в рукописи не сохранились: есть один машинописный оттиск всего цикла. Спасибо тебе, родной мой! <...>

**6 сентября 1952. Переделкино.**

Дорогая Аля, милый друг мой!

Мне привезли из города твое письмо с коровой в закате, с музыкой и скукой, двойной водой Енисея. Ах, ах, Аля, ах! Ты знаешь все. Тут мое молчание и недоумение, мое отчуждение. А можно ли больше? Что сказать, что сделать? И я прикусываю губы. Но ведь вследствие этого в ответ на нарисованную тобою картину, так сложилась моя жизнь. А внутренне я не могу ею нахвалиться. Я этим летом гораздо больше, чем в прошлые годы, копался на огороде, окучивал картошку, копал гряды, обкладывал навозом яблони, часов по 5, по 6 в солнечные дни, и чувствую себя очень просто и спокойно. Ведь все делается страшно медленно, но если в течение зимы выйдет отдельной книжкой Фауст, пришлю тебе. Я и роман дальше пописал (осталось главное, окончание, очень печальное, с разными происшествиями). Читал эту новую часть весной в городе нескольким знакомым, между прочим, большим друзьям Елизаветы Яковлевны, но она этой части не знает, мне только теперь ее переписали. Я очень скоро, может быть на этой еще неделе, переведу немного денег тебе, и, может быть, Асе, от которой летом получил открытку. Я знаю, что и эти посылки как бы навсегда установились, как все остальное, и стали знамением этого заклятого и рокового однообразия, я знаю, что они ровно ничего не меняют, но все же, если в эти редкие промежутки тебе хоть в бытовой плоскости становится хоть на полвершка вольнее, и то счастье.

Крепко тебя целую, спасибо тебе за все. Я тоже, когда разговариваю, а не развлекаюсь землей и навозом, разговариваю с тобой. Крепись, мужайся, — это не пустые слова.

Твой Б.

*Письмо, на которое отзывается Пастернак, не сохранилось, а в следующем, 10 октября 1952 года, А. Эфрон благодарила его за присланные деньги и “несколько таких чудесных строк на таком казенном бланке” почтового извещения, которые тоже пропали.*

Спасибо тебе, мой родной, спасибо тебе бесконечное за все, а главное, за то, что все исходящее от тебя для меня праздник, то есть то, чего я абсолютно лишена и без чего я абсолютно жить не могу. И каждый раз, когда я вижу твой почерк, у меня то же ощущение глубокого счастья, что и в детстве, когда я знала, что завтра — Пасха, или Рождество, или, в крайнем случае день рождения. <...> Если бы не ты, я, наверное, была бы очень одинока, но ведь я все вижу немного твоими глазами, немного с тобой вместе, и от этого легче <...>

**19 октября 1952. Москва.**

Алечка!

Спасибо тебе за письмо в две странички, которое ты считаешь временным, а я — окончательным и не нуждающимся в дополнении. Не торопись мне писать, не задумывай длинных писем, не тревожься, не создавай себе из этого забот. Мне жаль твоего времени и сил, я и без писем знаю все.

Я знаю и то, что посланного наверное едва тебе хватило на возвращение долгов и как только будет возможность (довольно скоро), дошлю еще.

Я так чудно доживал последние дни сентября на даче, великолепно себя чувствовал, Бог знает что воображал о себе и своих возможностях и море мне было по колено первые дни по переезде в город, — я сел за окончание романа, работа пошла.

Но мне давно, уже около десяти лет надо было основательно заняться зубами. Надо было решиться на удаление всех оставшихся собственных зубов и их замену протезом, как их теперь делают. Я набрался храбрости и теперь наказан. Протез плохо прилегает, изъязвил мне все во рту. Говорят, так всегда бывает в начале, потом обойдется. Это обстоятельство сбило с меня спесь и поставило меня на место.

Кроме того, тут много шуму наделал напечатанный в четырех номерах “Нового мира” (с седьмого по десятый) роман В. Гроссмана “За правое дело”. Все советовали прочитать. Я воспользовался вынужденным досугом и стал читать.

Мне очень понравилось начало, описание первой ночи войны на границе, множество определений, умных и глубоких, множество зарисовок, живых и поэтических, строки о Яснополянском доме, все о письме матери (Штрума) и его чтении сыном, вся часть об эвакуации детдома и воздушном налете немцев на Сталинград, все о национал-социалистах в Берлине.

Но серых, неряшливо написанных страниц, держащихся на риторической приподнятости и нравственном штампе, становилось все больше, в третьей части я автору уже не верил, в четвертой был чем-то восстановлен против него. Я не выношу этой ложной глубины и расхожего возвышенного образа мыслей по всякому поводу: “Любовь матери... была так же нужна, как этот кусок солдатского хлеба”. Я не верю мелькающим на каждом шагу всеобщностям (таким, что ли: он посмотрел на закат и вспомнил то-то, и то-то, и то-то и чуть ли не всю свою жизнь. Или: в этом, — каком-нибудь частном явлении, — было то-то, и то-то, и то-то, и сырость осени, и детство в деревне, и прочее и прочее, и целая вселенная).

Это хорошо, и бывает иногда, и тогда надо правильно передать и эту редкость. Когда же это превращается в постоянный стилистический прием, это значит, что правда и живописующая наблюдательность уступили место заводному механическому многоговорению по всем правилам ораторского искусства. На 600 страниц текста страниц 60 истинных и живых. Как могло это случиться у человека с умом и талантом? Это тоже, как зубы, меня расстроило.

Когда в начале он несколькими страницами захватил меня, я был готов склониться перед ним и отдать ему все, он должен был попрать меня и уничтожить. Но этого не случилось. Не изменил моей природы, не освободил моих “клепок” от придури и этот пример, и этот разговор по-взрослому, в требующемся направлении, такой яркий и талантливый, но и такой противоречиво плоский и неполный!

И я рад, что стою в стороне как неприменимый ни к чему курьез с “детской” может быть, любительской, дилетантской никчемностью своего дела перед заколдованным кругом этого так по-странному вдохновенного профессионализма, оригинального во стольких частностях и бесцветного в целом даже тут, в этом примере, как у всех.

Но, может быть, я завидую, пристрастен и ошибаюсь? Проверь, пожалуйста. Достань, если есть у вас в клубе, эти четыре книжки и прочти. Там есть много прекрасного, многие места потрясут тебя. Искренне напиши мне, что ты думаешь. Наверное, я не прав, скажи мне это, не бойся, я не разлюблю тебя.

Твой Б.

Странно, когда начинается вранье, внутреннее (писание того, что автор не думает) и внешнее (несоответствие действительности), то и язык становится неожиданно неправильным, точно автору заложило ухо или он передал перо кому-то другому: ехал пароходом, вернулся лодкой, отправился самолетом, поездом, машиной, выждал тишину, ждут первую рюмку, пошел искать молоко.

*Пастернак был знаком с Василием Гроссманом, они встречались в Чистополе во время войны, среди его книг сохранился маленький сборник очерков “Сталинград”, подаренный ему Гроссманом в 1943 году. Его страницы носят пометки внимательного чтения и интереса. По-видимому, Пастернак высоко ставил его ум и талант, что так был огорчен романом, от которого многого ожидал. На следующий день после письма к Ариадне с ним случился тяжелый инфаркт, и он по “скорой помощи” был отвезен в Боткинскую больницу.*

*Впоследствии он именно эти два обстоятельства — занятие зубами и разочарование в Гроссмане — считал причиной инфаркта. На пятый день, как только пришел в себя, он, лежа в постели, карандашом писал:*

**25 октября 1952. Москва.**

Аля, меня в инфаркте свезли в Боткинскую больницу. Я думаю, я выздоровею. Я получил твое письмо. Спасибо тебе, родная, чудная девочка моя. Я не врал тебе, намереваясь дослать тебе еще денег, но отсюда, из больницы, мне некому и трудно это поручить. Авось, Бог даст, выздоровею. Запрещено писать и двигаться. Крепко целую тебя.

Твой Б.

*Ариадна сразу же отозвалась на это страшное известие:*

**8 декабря 1952. Туруханск.**

Дорогой мой Борис!

Недавно получила открытку от Лили, а вслед за ней телеграмму — о том, что тебе лучше. Слава Богу! Я не то что волновалась и беспокоилась, потому что и так почти всегда о ком-то и о чем-то беспокоюсь, а просто все во мне стало подвластно твоей болезни, я ничего, кроме нее, по-настоящему не понимала и не чувствовала. Одним словом — все время болела вместе с тобой и продолжаю болеть <...>

Все время думала о тебе и с тобою и все свои силы присоединяла к твоим, чтобы поскорее побороть болезнь. Это не слова <...>.

*Далее Ариадна сообщала, что прочла “За правое дело”, — “все, кроме окончания”.*

Не могли не понравиться отдельные места, и не могла не разочаровать вся книга в целом. Рассыпчатая она, без стержня, без хребта, без героя — записная книжка, а не книга. Гроссман, конечно, талантлив и бесспорно наблюдателен, но меня всегда раздражает такая форма повествования (вот у Эренбурга, например, да и у многих, начиная, кажется, с Досс-Пассоса) — будто бы автор сценарий пишет, заранее представляя себе, как все это будет выглядеть на экране <...> А отдельные места хороши, хороша разговорная речь, природа. <...>

**12 января 1953. Москва.**

Аля, Алечка!

Ты и твои слова все время были со мной. Я — дома, скоро с Зиной поеду в санаторий. Все время чувствую сердце, теряюсь, до каких границ распространять осторожность, всякое ли сжатие, укол и прочее принимать за предупредительный сигнал, но тогда можно с ума сойти. Двухмесячной лежкой належал себе снова затрудненную подвижность шеи (отложение солей). Но все это пустяки!

О, как по-маминому, по-нашему было все в больнице первые ночи, пока было опасно, на пороге смерти! Как огромно и торжественно было около Бога! Как я ликовал, как благодарил его, как молился. Господи, шептал я, — сейчас это только слова благодарности, если же ты унесешь меня, весь я с головы до ног, со всей моею жизнью стану благодарственным тебе приношением, и смешаюсь с другими такими дарами тебе и растворюсь в вековечном отзвуке твоего дела.

Милый друг, без конца целую тебя.

*Нельзя не вспомнить при этом стихотворение “В больнице”, в котором воплотились эти слова благодарности и ликования:*

О Господи, как совершенны

Дела твои, — думал больной,

Постели, и люди, и стены,

Ночь смерти и город ночной.

Мне сладко при свете неярком,

Чуть падающем на кровать,

Себя и свой жребий подарком

Бесценным твоим сознавать.

Кончаясь в больничной постели,

Я чувствую рук твоих жар,

Ты держишь меня, как изделье,

И прячешь, как перстень в футляр.

**28 января 1953. Туруханск.**

Борис, мой родной, наконец получила первую твою, уже домашнюю весточку. Спасибо тебе! Я не сразу почувствовала облегчение, слишком велика была во мне тяжесть твоей болезни, мне еще нелегко и сейчас, я еще страдаю по инерции, но вместе с тем и наступает в душе рассвет дня твоего выздоровления. Как я вымаливала тебя у темного, северного неба, у ледяной северной реки, у всех четырех ветров, у всех суровых северных стихий, как будто именно они держали тебя в плену, как будто от них все зависело! <...>

**15 февраля 1953. Болшево.**

Дорогая Аля!

Может быть, от тебя лежит письмо в Москве у нас, а я этого не знаю. Вторую неделю нахожусь с Зиной в здешнем санатории Академии наук. Воображаю, какие у тебя морозы, если они тут так долго держатся на двадцати градусах, иногда доходя до тридцати пяти. Но сказочно хорошо в лесу. Я уже совершенно поправился и понемногу работаю. Зина в марте уедет, а я останусь здесь еще на месяц. Страшная потребность в молчании и одиночестве на прогулках. Бегаю от знакомых и наверное кажусь им необъяснимо несносным. Но все так крупно в жизни кругом, а современные разговоры на все\*, на любые темы, так непроходимо мелки!

Ты, наверное, сидишь совсем без денег, бедная моя. 9 апреля надеюсь перевести тебе некоторую мелочь. Я здесь жил как-то в течение месяца летом 1935 г., когда приехал от Вас. И твоя мама, кажется, жила тут или где-то рядом, в недоступности, летом 39-го или 40-го года. Это было тяжелое, роковое для меня время. Все во мне было сковано, и не было пути никуда. Насколько сейчас я свободнее, и насколько легче мне.

Твой Б.

**25 февраля 1953. Туруханск.**

<...> Так значит, ты в Болшеве. Да, мы все жили там, наша дача была недалеко от станции. Я там была по-настоящему счастлива и сознавала, что счастлива. Не потом, путем сравнения, поняла, что то было счастье, а так просто — жила, и каждый день был сознательным, вернее, осознанным счастьем. Невероятно! И ведь та же самая я! <...> Помнишь, как мы сидели с тобой в сквере против Жургаза и тебе было так тяжело, а я была полна своего “осознанного” болшевского счастья? Ты говорил, что завидуешь мне, что я молода и что у меня все так просто в жизни. Это, кажется, был единственный раз, что ты меня обманул! <...>

*Вспоминая встречу на Страстном бульваре летом 1939 года, Ариадна Сергеевна точно восстанавливает несоответствие тяжелого душевного состояния своего собеседника и собственной бурлящей радости московских лет, не позволяя себе никакой подмены. Недавно был арестован Мейерхольд, зверски убита его жена, вернулась Цветаева, — Пастернак чувствовал сгущающиеся тучи над их головами, говорил, что ко всему готов, а сам рассказывал ей о “своих беседах” с двухлетним сыном, самым дорогим для него в то время, что привязывало его к жизни. “Кругом была осень и были дети, кругом было мирно и мило, — описывала она эту встречу в другом письме, — и все равно это был сад Гефсиманский и моление о чаше. Через несколько дней и я пригубила ее”.*

**10 апреля 1953. Москва.**

Алечка, опять я тебя целую и опять обнимаю. Очень хочется этим летом дописать роман. Послезавтра переезжаю на дачу. Чувствую себя по-разному, но больше хорошо. Много ведь перемен, они, верно, и тебя коснутся. А мои, мои сроки придут еще нескоро, если вообще когда-нибудь придут.

Твой Б.

*Это написано на талоне почтового перевода (1000 руб.). Перемены, о которых здесь упоминается, связаны с недавней смертью Сталина и объявленной 27 марта амнистией, которая, как казалось, “стольких должна коснуться”. Но надежды, как вскоре выяснилось, были напрасны, — политические не попадали под амнистию.*

**27 июля 1953. Туруханск.**

Дорогой мой Борис, очень беспокоит твое здоровье — и молчанье. Как себя чувствуешь? Напиши несколько слов на открытке, мне этого опять будет достаточно месяца на два вперед.

Я живу все так же, и от этого “так же” настолько отупела, что сделалась какая-то обтекаемая, и даже все необычайные происшествия последнего времени не достигают до сердца. Наверное, и сердца-то уже не осталось. <...>

*А “происшествия последнего времени” — это разоблачение Берии, которое “вызвало в нашем тихом углу подлинную сенсацию”, — как писала Ариадна Елизавете Яковлевне Эфрон. “Вечные поселенцы” Туруханского края обрели надежду на возвращение к жизни, встречу с родными, освобождение.*

**7 августа 1953. Переделкино.**

Дорогая Аля!

Действительно, все больнее и больнее становится думать о тебе и читать твои, полные недоумения о твоей собственной судьбе письма! Что сделать мне, чтобы облегчить твои страдания? Особенно обескураживает этот застой и эта неизменность сейчас, когда, казалось, все так полно было надежд на какие-то близкие перемены. Но ведь ты понимаешь, что это только вопрос времени. Было бы страшно, вытерпев так много, сдать и поникнуть силами в последнюю минуту.

Никакие параллели между мною и тобою, между невольно бесплодным и безвредно-благополучным моим прозябанием и твоим святым мученичеством немыслимы, и я их не провожу, но и для меня пока ничего не изменилось, время мое не наступило.

Я очень хорошо поработал месяца полтора-два над Гетевским Фаустом, переделав по собственному побуждению, наперекор сопротивлению издательства большую долю перевода, стихов до двух тысяч, а сейчас так же увлеченно двигаю дальше Живаго.

Осенью, в сентябре или октябре, если Фауст к тому времени выйдет, я тебе его вышлю и, независимо от его выхода, переведу обычные деньги.

Не удивляйся холоду и серости моего бессодержательного письма. Оно не холодно, наоборот. Мысли о тебе и о некоторых хороших, ни в чем не повинных и близких людях в твоем положении не дают мне быть радостным. А радоваться надо. Перемены придут обязательно, самого общего и широкого характера. Вот отчего, в ожидании их, надо крепиться и не сдавать.

Я хотел тебе послать два новых пополнения в Живаговскую тетрадку (о природе, о соловьях), но подожду, пока их накопится больше. Крепко, крепко тебя целую.

**25 августа 1953. Москва.**

Дорогая Алечка, крепко целую тебя. Я ужасная свинья, что не пишу тебе, но пока чувствую себя еще человеком, тороплюсь кончить роман, и все время отвлекаюсь на что-нибудь постороннее, написал несколько новых стихотворений. Когда месяца через полтора-два выйдет Фауст, ты его обязательно прочти, любовь моя. Твой Б.

**30 августа 1953. Переделкино.**

Дорогая Алюша!

Я неделю тому назад заполнил препроводительный бланк к денежному переводу, а денег тогда не получил и не мог послать. Дата бланка, по которому, надеюсь, ты все же получишь в сентябре деньги, устарела и не соответствует действительности. Там в приписке я сожалею, что все не могу собраться написать тебе по-человечески и не могу урвать времени, чтобы переписать тебе два-три стихотворения для романа, написанных недавно между правкой и переделкой Фауста и между писанием прозаического основания романа. А теперь, отказавшись от радости чуточку поболтать с тобой, я ограничусь только начертанием этих стихов, может быть, строчка или четверостишие из них тебе понравятся.

Я в отношении работы и всего остального провел лето очень хорошо. Большое значение для меня, для существа моих воззрений, для ясности моего лица имеет то, что я сделал с Фаустом. Дай мне слово непременно прочесть его, когда он выйдет и я тебе его пошлю. Что же касается до стихов, то тебя расхолодит, вероятно, беллетристическая маскировка, которой подвергается прямое и личное в них. Но писать обнаженно биографически, как я позволял себе раньше, в каком-то смысле невозможно и нечеловечно. И я рад, что подчиняю задуманное воздействию сдерживающих соображений. Наверное, это глушит и гасит первоначальную свежесть ощущения. Но ведь эта обработка исходит из добрых внушений. Может ли быть от этого вред? Или в искусстве нельзя так? Как ты думаешь? Вставь эти стихи (или впиши) в тетрадку с обеими Магдалинами и Зимним свиданием, есть она у тебя? Крепко тебя целую.

Твой Б.

*Речь идет о стихах, написанных летом 1953 года: “Весенняя распутица”, “Белая ночь” и “Август”. Говоря о “беллетристической маскировке” и подчинении задуманного “воздействию сдерживающих соображений”, Пастернак имеет в виду подспудную тоску ожидания, которой проникнуты эти стихотворения, и надежду на возвращение арестованных, в первую очередь — его близкого друга Ольги Всеволодовны Ивинской. Вскрывая тайную направленность этих стихотворений, он пишет, чтобы Ариадна вставила эти стихи вместе с “Магдалинами” и “Свиданием”, посвященными тому же человеку.*

**12 сентября 1953. Туруханск.**

Дорогой друг Борис!

Получила твое письмо и стихи, и хочется сейчас же отозваться, не ожидая несбыточного досуга — и таких же несбыточных настоящих слов.

Ты знаешь, я ужасно к тебе пристрастна, и не потому, что это хоть сколько-нибудь в моей природе, а потому, что ты сам не позволяешь иначе — начинаешь тебя читать, и вот уже тобой уведена и тебе подвластна, и все понимаешь и чувствуешь так, как это сказано тобой. И, черт возьми, никогда не знаешь, как это сказано и почему это именно то самое. У тебя никогда не видно того, что французы называют “les ficelles du metier”\*, никаких “приемов”, все так просто и просторно, как Божий мир, а поди-ка сотвори! Конечно, “подвластна” — совсем не то слово, вот в том-то и дело, что ты никогда не порабощаешь и что всегда “печаль твоя светла”. Откуда в тебе столько света? Где, чем, кем пополняешь ты в себе его запасы? Талант? Но он всегда бремя, всегда крест, и большинство творцов хоть часть его возлагают на читателей, слушателей, зрителей, а с тобой всегда легко дышится, будто всю тяжесть творчества — да просто жизни — ты претворяешь в “да будет свет”. <...>

**18 февраля 1954. Москва.**

Дорогая моя Аля!

Я ужасная свинья перед тобой. Не думай, что я забыл тебя, или что плохое самочувствие мешает мне писать. Но я страшно занят, то есть, пользуясь временным здоровьем, все свободное время, остающееся от каждодневной обиходной бестолочи, отдаю работе над концом романа. А полное самообольщения намерение писать хорошую прозу отнимает столько сил! То и дело перечеркиваешь все написанное и по несколько раз переписываешь, то совсем по-новому, то с незначительными изменениями. Сплошное, еле подвигающееся вперед топтание на месте, не то что стихи.

Но не только этот недосуг и трудолюбие причины моего молчания. Вместе с желанием написать тебе и Асе я давно хочу послать тебе денег. Я связал оба желания вместе, и они стали неразъединимы, а с исполнением второго все время происходит задержка. Прости, я уже и сейчас, напрягшись, мог бы перевести тебе что-нибудь, но предпочитаю это сделать, когда мне будет удобнее, а эта возможность все время откладывается.

Наконец, последнее, в чем я виноват перед тобой и Асей. Я так мечтал послать Вам по экземпляру Фауста, тебе и ей. Он вышел, но в очень небольшом количестве экземпляров, и почти не попал в продажу, я сам с огромным трудом его доставал.

Прости меня за все и не теряй надежды на мое исправление. Это ведь уже бывало. Вдруг выяснялась слабая моя надежность и несостоятельность, а потом все снова менялось. Так будет и на этот раз. Будь здорова, не сердись.

Целую тебя.

Твой Б.

*Когда-то, в конце 1920-х годов, Пастернаку предлагали перевести “Фауста”, и он соглашался на это, думая делать эту работу вместе с М. Цветаевой, чтобы устроить ей заработок и “вернуть ее”, как поэта, в Россию. Но предположения эти сорвались, и вот теперь, не отвечая на письма и отрывая силы и время от писания романа, он перевел его сам. Все же ему удалось вскоре достать экземпляр “Фауста”, и он послал его А. Эфрон, которая 20 апреля 1954 года благодарила за присылку:*

Фауст же меня просто ошеломил. Работа гигантская, талантлив необычайно, и, ты понимаешь, с одной стороны, жаль ужасно, что столько труда, времени и себя ты вложил в Гете, лучше бы в свое, а с другой — как хорошо, что это сделано именно тобой. Какой ты молодец — талантливый и трудоспособный, а ведь в России это сочетание встречается раз в столетие, да и то не в каждое.<...>

**27 апреля 1954. Москва.**

Дорогая Аля!

Спасибо тебе, что написала мне так, как можешь, не больше и не принуждая себя. От Е<лизаветы> Я<ковлевны> знал, что ты жива, и не беспокоился о тебе и за молчание не винил. У самого нет времени на переписку. Момент во всех смыслах переломный и в отношении возраста и обстановки. Надо торопиться, чтобы не побросать начатого неконченным и в беспорядке.

Я знаю, родная моя, что у тебя нет и не может быть денег и что ты в страшной нужде. И они опять будут, верь мне, как бывало прежде. Но представь, наперекор всякому смыслу и вероятию, зима принесла некоторое бюджетное ухудшение, которое до сих пор не выправилось. Однако так остаться не может. Потерпи еще немного, через месяц, уверен я, я вернусь к старым привычкам.

Не думай, пожалуйста, писать мне еще что-нибудь о Фаусте. Ты все, что надо, написала мне. А разборы Фаустов, характера Печорина, личности Гамлета и отношений Евгения и Татьяны задачи еще более трудные, чем создание самих прообразов. Избави тебя Бог от этой каторги. Я все знаю, Алечка моя. Крепко тебя целую.

Твой Б.

**2 июля 1954. Москва.**

Дорогая Аля!

Наконец-то удалось перевести тебе эту малость. Отправлял впопыхах и не мог ни слова написать на сопроводительном бланке. Не сочти это невниманием.

Я здоров в отпущенных мне пределах, и работаю. Слава Богу, жаловаться не на что, но, разумеется, было бы веселее, когда бы не этот очередной поворот вспять.

Что мне сказать тебе, родная, чего бы ты не знала заранее. Прости за возрастающую скудость и бессодержательность моих записок.

Крепко целую тебя.

Твой Б.

*Только в августе ссыльные получили извещение, что их дела пересмотрены, — чтобы получить разрешение на возвращение в Москву, нужно было подавать документы на реабилитацию. Ариадна Сергеевна тут же написала Пастернаку, но эвфемизмы, которыми привычно заменялись все понятия, связанные с арестом, этапом и освобождением остаются в употреблении по-прежнему.*

**20 августа 1954. Туруханск.**

Дорогой друг Борис!

Во-первых строках моего зеленого письма сообщаю, что мы получили официальное сообщение о том, что реприманд с нас снят и что мы получим в течение сентября паспорта (такие, какие у нас были до поездки, то есть на тройку с минусами, но все же и за то спасибо). И вот мы думали-думали с Адой (с которой вместе приехали из Рязани и вместе живем все эти годы) и решили эту зиму, до следующей навигации, зимовать здесь.

Ехать нам фактически некуда, у нас, кроме Москвы, нигде никого, и ехать куда-то наобум, думается, просто немыслимо. Может быть, Бог даст, за зиму дождемся реабилитации, тогда все значительно упростится <...> Как ты думаешь? Одобряешь ли такое решение? Если не был бы такой безумный зимний тариф у самолетов, я непременно прилетела бы в отпуск в Москву зимой — это разрешается, но на такую partie de plaisir нужно не меньше двух тысяч <...>

**1 сентября 1954. Переделкино.**

Дорогая моя Алюша!

Спасибо тебе за оба письма. Отвечаю на последнее, — в нем изложение твоего плана относительно возможности и перспектив после получения “вольной”. Я согласен с твоей точкой зрения, не порывать с Туруханским пепелищем на зиму, а зимой слетать на свидание с нами и для рекогносцировки. По этому поводу следующее.

Последний год я совершенно лишил тебя помощи, потому что у меня не было новых дел и договоров с издательствами, а привычки домашних не давали мне требующейся свободы для пользования другими источниками, которых было бы достаточно для посылок тебе. Есть поговорка — дурак суленому рад — и конечно, это неблагоразумно, но недавно в Госиздате мне пообещали переиздать Фауста и мой собственный томик так определенно, что я не вижу причин не верить. Я хочу сказать, что в этом случае в середине зимы нужные тебе две тысячи обеспечены. Да и во всяком случае, лети, за мною дело не станет, но, если можно, не сейчас, а так, скажем, в декабре.

Прости, что пишу, наверное, сухо и от твоей проницательности не укроется торопливость письма. Я здоров, насколько требуется для работы, и работаю с увлечением над давно, вчерне, составленным концом романа, но, конечно, меняющимся и разрастающимся в отделке. Он то, что я мог мечтать и должен был сделать в жизни и так же фантастически далек от требующегося, принятого и привычного, как далека от нас твоя мама, как далек город, счастливо, вероятно, снящийся тебе иногда, и как далека от меня истинная моя счастливая звезда, о которой иногда урывками рассказывают мне университетские люди по каким-нибудь им доступным статьям в Slavonic papers [каких-нибудь]\* и о чем я не рассказываю даже домашним, так далеко и непонятно должно быть это им, и так близко и понятно тебе, милый друг мой. Целую тебя.

Твой Б.

**29 августа 1954. Туруханск.**

Дорогой друг Борис!

Сегодня я получила от маминой приятельницы, бывшей с ней в Елабуге (ты когда-то советовал к ней обратиться, чтобы узнать о маме), полторы тысячи, то есть как раз столько, сколько стоит самолет Туруханск—Красноярск и обратно, а на поезд я наберу (у меня лежит бoльшая часть присланных тобой денег — на книжке), так что одно чудо уже есть, и я, если все будет благополучно, смогу ненадолго приехать в Москву в отпуск. Вернее всего в ноябре. И тогда я отниму у тебя, у романа, у переводов, у семьи (твоей) и у всего на свете два часа, которые я не только заслужила, но и выстрадала. Я прилечу и приеду только для того, чтобы увидеть Лилю и тебя, единственную семью души моей, и поэтому сгони сейчас же с лица недовольное выражение. Я знаю, ты не выносишь вторжений, особенно в последнее время, но я все равно буду Аттилой и вторгнусь, предупреждаю тебя заранее, чтобы ты свыкся с этой мыслью. <...>

**10 сентября 1954. Переделкино.**

Дорогая Аля!

Жалею, что успел отправить тебе свое письмо до получения твоего последнего, радостного, о получении денег из Елабуги и о твоих планах. Все это замечательно. Страшно загадывать вперед, но если судьба нам увидеться, то вот мое предложение.

Зина хочет, чтобы я зимовал на даче. Дом в этом году отремонтировали на зимний лад, со всеми удобствами, бo’льшими, чем в городе. Но все эти приспособления еще не проверены в холоде, неизвестно, оправдают ли они ожидания.

Хотя я никогда не тяготился городскими зимами, и без Москвы тут будет скучно, я не прочь остаться на даче. В этом году мне будет безразлично, где находиться, потому что буду я адски занят. (Это я не для тебя говорю, ты сейчас увидишь, что воспоследует.)

Будет чудесно, если на все то время, что ты проведешь в Москве, ты поселишься у нас на даче. У тебя будет отдельная комната. Утром, хоть каждый день, ты будешь уезжать по делам в город на электричке, а в некоторые дни на машине, встречаться там, с кем тебе будет нужно, а к концу дня возвращаться на дачу, и вечера, поработав, погуляв и позанимавшись, сколько мне нужно, я буду проводить с тобой. Увидишь, как это будет замечательно.

В прошлом письме я писал тебе о деньгах. Это тоже облегчится, когда ты будешь здесь рядом, и я тебе достану сколько тебе надо будет и сколько ты захочешь на покупки и дорогу и прочее.

Больше пока ничего не хочу говорить, кроме только того, что благодаря твоему ожидаемому приезду решение мое определилось и в воображении я уже тут зимую. Целую тебя.

Твой Б.

Наша дача в Переделкине по Киевской дороге, в Городке писателей, № 3.

*Ариадна Сергеевна не стала исправлять ошибку Пастернака, который в торопливой невнимательности при чтении ее письма решил, что деньги, полученные от приятельницы М. Цветаевой по эвакуации, писательницы Татьяны Сергеевны Сикорской, присланы из Елабуги. Она очень обрадовалась его предложению и писала ему 24 сентября 1954 года:*

Страшно благодарна тебе за твое приглашение, это действительно будет чудесно, а также и то, что за короткий отпущенный мне срок я надеюсь просто не успеть тебе надоесть. Я начинаю свыкаться с дивной мыслью, что то, о чем не смела мечтать, возьмет да и осуществится. <...>

*А. Эфрон пробыла в Москве вторую половину ноября, была в Переделкине, познакомилась с гостями и друзьями Пастернака. Вернувшись в Туруханск, она писала:*

**10 января 1955. Туруханск.**

Дорогой мой друг, я бесконечно счастлива, что побывала в Москве и вновь встретилась с тобой. Мы видимся очень редко, между нашими встречами такие события и расстояния, что история их вмещает с трудом. <...>

Помнишь мамин цикл стихов об Ученике? Так вот, всегда, когда встречаюсь с тобой, чувствую себя твоим Учеником, настоящим каким-то библейским Учеником, через времена, пространства, войны, пустыни, испытания вновь добредшим до Учителя, как до источника. <...> И вот теперь вновь мы встретились с тобой, и опять я слушала тебя и смотрела в твои неизменно золотые глаза. Пожалуй, не было бы сил все глотать и глотать из неизбывной чаши, если бы не было твоего источника — добра, света, таланта, тебя, как явления, как Учителя, просто тебя.

Все остальное было тоже очень хорошо, и твоя дача, о которой З<инаида> Н<иколаевна> говорит, что она лучше Ясной Поляны, и тихие сосны вокруг дачи, и, главное, тоненькая рябина, усыпанная ягодами и снегирями. Очень все было хорошо, я страшно рада, что побывала у вас. <...>

*Реабилитацию “за отсутствием состава преступления” А. Эфрон получила только в марте 1955 года, дело пересматривалось почти два года. В Москве она была в июне. Ездила в Переделкино и сразу включилась в заботы вокруг Пастернака. Окончание работы над “Доктором Живаго” подгонял договор с МХАТом на перевод “Марии Стюарт” Шиллера, заключенный в это время. Не имея времени просмотреть еще раз рукопись романа, Пастернак передал ее в перепечатку своей приятельнице М.К. Баранович. Купленную для этого бумагу должна была передать Ариадна Сергеевна. Кроме того, он перенес на нее часть своей переписки с Анастасией Ивановной Цветаевой, которая пока еще не имела возможности вернуться в Москву.*

**15 августа 1955. Переделкино.**

Дорогая Аля!

Не забудь, пожалуйста, написать Асе. Пусть извинит меня, что никак не могу ей написать и еще очень долго не буду иметь возможности. И, если хочешь, — о Магдалине, — но это неважно. Бумагу всю, обе пачки и рулон, в будущем, при случае, еще очень далеком, передай Марине Казимировне Баранович. Я тебе городской ее телефон назвал правильно. Вот вдобавок еще дачный: И-1-30-10 доб. 40, попросить к телефону дочь ее Настю, потому что сама М<арина> К<азимировна> болеет горлом и говорит шепотом: ее почти не слышно. Рукопись у нее. Но можно ли ее читать в таком виде? Мне кажется, нельзя. А там как знаете. Через месяц она мне потребуется.

Крепко тебя целую.

*Первая перепечатка полной рукописи романа была окончена в сентябре, после чего пройдена автором еще раз, многие страницы и эпизоды подверглись серьезной редактуре.*

*“Вы не можете себе представить, — писал он Нине Табидзе, характеризуя эту работу, — что при этом достигнуто! Найдены и даны имена тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумения и споры, ошеломляло и делало несчастными столько десятилетий. Все распутано, все названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз освеженно, по-новому, даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти”.*

*Ариадне Сергеевне был подарен экземпляр заново сделанной “машинки”; им, перешедшим потом в собственность Вяч.Вс. Иванова, мы руководствовались в 1988 году, исправляя бесчисленные опечатки западных изданий в первой публикации романа “Доктор Живаго” на родине автора.*

*Ариадна Сергеевна сразу по возвращении погрузилась с головой в подготовку издания сборника стихотворений Марины Цветаевой, разборку ее архива, устройство московской квартиры, поездки в Болшево и Тарусу. Ее переписка с Пастернаком продолжалась, она посылала ему выписки из материнского архива, стихотворный цикл 1923 года “Магдалина”. Пастернак когда-то получил эти стихи от самой Цветаевой, и, конечно, в его собственных “Магдалинах” 1949 года явственно слышен отзвук Марининого “О путях твоих пытать не буду...”.*

**20 августа 1955. Болшево**

Дорогой Боренька, сейчас разбираю мамины стихи, и захотелось мне напомнить тебе этих “Магдалин” — все те же волосы, о которых ты мне говорил, и те же грехи! <..> В маминых записных книжках и тетрадях множество о тебе. Я тебе выпишу, многого ты, наверное, не знаешь. Как она любила тебя и как долго — всю жизнь! Только папу и тебя она любила, не разлюбливая. И не преувеличивая. <...>

*Ответ на это письмо с выписками сохранился у М.И. Белкиной. Он стал последним среди писем Пастернака к Ариадне Эфрон. Ее письма к нему продолжались, становясь развитием их нечастых встреч и разговоров последних лет. С первых же дней ее занятий архивом матери она была болезненно задета интересом посторонних к переписке ее матери. Рассердилась даже на А.К. Тарасенкова, который помогал ей составлять книгу матери, когда узнала, что у него есть копии писем Цветаевой к Пастернаку в перепечатке Крученых.*

Подлецы они все, и покупающие и продающие. У меня в маминых рукописях лежит большая пачка твоих к маме писем, и никогда, скажем, Лиле или Зине, у которых все хранилось все эти годы, и в голову не пришло прочесть хоть одно из них. И я никогда в жизни к ним не притронусь, ни к тем, остальным, от других людей, которые она берегла. И после моей смерти еще 50 лет никто не прочтет. Тебе бы я, конечно, их отдала, но ты все теряешь и выбрасываешь и вообще ужасный растяпа, ты только подумай, что она, мертвая, сберегла твои письма, а ты, живой, ее писем не уберег и отдал каким-то милым людям. Лучше бы ты их сжег своей рукой! Боже мой — мама вечная моя рана, я за нее обижена и оскорблена на всех и всеми и навсегда. Ты-то на меня не сердись, ты ведь все понимаешь.

Твоя Аля.

*У себя в тетради А. Эфрон записала обстановку воскресного обеда в январе 1957 года в Переделкине, на котором она познакомилась с Ахматовой, — как “плутала она по поселку, по унаследованной от мамы <...> неспособности ориентироваться и запоминать места”, как “против обыкновения очень ласково” встретила ее Зинаида Николаевна. “Была она оживлена, что очень идет ей и редко с ней случается <...> Говорила З.Н. про Бориса и про “Доктора Живаго”, о том, что тревожно ей за того и другого и что ждет его с этой книгой много горя и разочарований <...>*

*Борис выглядел чудесно, милый, смуглый и седой с золотыми глазами. Мы с ним расцеловались, — а целуется он всегда очень охотно, от чистого сердца, чмокает громко и со вкусом и друга и недруга в обе щеки <...>. Прелестное у него лицо — когда-то был он юным островитянином жгучей масти, теперь стал настоящим “последним из могикан” — бронзоволиким вождем исчезающего племени <...> Очаровательная смесь гордости и застенчивости на его лице, когда он говорит о чем-нибудь особенно ему дорогом или о ком-нибудь”.*

*За столом было много народу: Ахматова, отец и сын Нейгаузы, К.А. Федин, недавно написавший отрицательный отзыв “Нового мира” на “Живаго” и потому вскоре ушедший, А. Вознесенский, Ливановы.*

*“Помню, под конец обеда Борис читал свои последние (тогда) стихи, и можно было только ахать от изумления перед неиссякаемым, неугасимым, широким, вольным даром. Так начинают писать, когда дано все и ничего еще не растрачено, и экономить нечего, и нет вокруг тебя ни тупиц, ни завистников, и жизнь еще — “сестра моя” и не научила взвешиванию и оглядке. Но вся эта широта, глубина и вольность, даже легкость необычайная, когда тебе за шестьдесят и жизнь — сплошные препоны! <...>*

*Пастернак всегда необычен и полон какой-то особой, только ему присущей теплоты, но когда начинает стихи читать, то всегда всех вышибает из колеи, заставляет разевать рот и разводить руками: ну как же вдруг вот одному столько дано и это данное он еще и еще раздает и, раздавая, еще богаче становится” (Ариадна Эфрон. О Марине Цветаевой. М., 1988. С. 255—256).*

*Ариадна Сергеевна принимала горячее участие в событиях Нобелевских дней и вместе с О.В. Ивинской составляла текст письма Пастернака к Хрущеву, твердо уверенная, что это единственная надежда на спасение. Последняя болезнь и смерть Пастернака были глубоко пережиты ею.*

*27 апреля 1964 года она писала Ирине Емельяновой, дочери О. Ивинской:*

*“Дорогой Аришик, вот и Пасха приближается, навсегда в нашей памяти связанная с болезнью и уходом Б.Л. — с его Страстной неделей (и с воскресеньем, раз он в него верил!). Посылаю тебе переписанное его письмо, чудесное; только, прошу тебя, не пополняй им ничьих коллекций, ладно?” (Ирина Емельянова. Легенды Потаповского переулка. М., 1997. С. 301).*

*Дальше идет текст открытки Пастернака от 14 июня 1952 года, написанной ей, по ее просьбе, — “между переводом и огородом”:*

*“Мне хорошо, Аля, — писал он, — я стал как-то шутливо спокоен. Я не остыл к жизни, а готов загореться и горю как-то шире, целым горизонтом, как будто я только часть пожара, вообще только часть того, что думает воздух, время, человеческая природа (в возвышающем отвлечении), я боюсь сглазить, я боюсь это говорить. Мне нечего жалеть, я что-то вроде Хлестакова, я заедаю чужой век, мне выпала даром, неизвестно за что, может быть, совсем не мне предназначенная судьба, незаслуженно, неоправданно”.*

*Публикация М.А. Рашковской.*

*Сопроводительный текст Е.Б. Пастернака*